Вячеслав Борисович **Репин**

Ловец удовольствий и мастер оплошностей

роман

в 5-частях

2019

Оглавление

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 5

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 83

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 190

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 489

ЧАСТЬ ПЯТАЯ 563

конец романа 771

Елене

2011 – 2019

«Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем…»

Пс. 90:5

Часть первая

Дом в Ипёкшино, принадлежавший знакомым знакомых, я приезжал осматривать поздней осенью. В Подмосковье я намеревался пожить какое-то время. После долгих лет жизни за границей решение казалось непростым. От русского быта, а тем более от загородного, подмосковного, отвыкнуть проще простого, труднее привыкать к этому заново. Отдаленность от всего привычного, извечные трудности с покупками, необходимость заниматься хозяйством, — всё это и не старо и не ново. Обычный образ жизни мне предстояло променять на одни голые планы. Во Франции, где я прожил много лет, загородный быт всё же попроще. К тому же и планы у меня пока были расплывчатые, самые расплывчатые за всю мою жизнь.

В доме не жили уже больше года. И хотя коттедж, возведенный как готовый сруб, не выглядел запущенным, нежилым, обстановка производила впечатление наспех законсервированного семейного благополучия. Так бывает с дачами при разводах, когда собственность не успели поделить, а о

вчерашнем благополучии заботиться уже нет смысла. Да и как поделить прошлое?

Однако не могло не подкупать и доброе, бескорыстное отношение хозяев к моим нуждам. Загородные дома писателям одалживают по сей день. Хозяин дома уверял меня, что я смогу жить в Ипёкшине столько, сколько будет нужно. Жена его, уже бывшая, добивалась продажи общей недвижимости. Но на поиски нужного покупателя мог уйти и год и больше. На меня возлагались только расходы по счетчику. Я чувствовал себя баловнем судьбы, везучим мегаломаном, которому верят на слово…

И вот настал день, уже под конец зимы, когда я выбрался из такси перед воротами дома, давно не открывавшимися из-за сугробов. Было около десяти вечера. Давно стемнело. Стоял мороз. В свете фонаря мельтешил мелкий снег. Темневшие над оградами запертые коттеджи выглядели неожиданно сиротливо, в свой первый визит я даже не обратил на всё это внимания. Свет теплился лишь в двух-трех окнах на весь дачный поселок.

От тишины закладывало уши. В такую зиму я не попадал много лет. И еще не вставив ключ в замочную скважину, я вдруг спросил себя, не здесь ли конец моей прежней жизни…

С утра я не мог отойти от окна. Зимний пейзаж так и напоминал брейгелевский. Над кромкой далекого леса небо подпирала очередная гора облаков. От нещадной белизны снега и клубившихся облаков резало глаза.

Так и пролетел первый день. Я осматривал большой холодный дом, хозяйство, сходил на станцию за

покупками. Смеркалось неожиданно рано. Окна в нижней гостиной-столовой, где имелся еще один выход в заснеженный сад, смотрели на запад. За крышами соседних домов с другой стороны пруда, который угадывался под снегом округлой впадиной, мутновато просматривался яркий солнечный диск. На закате солнце еще раз озарило округу, и теплый свет с оттенками топленого масла заполнил посеревшие комнаты. Мир на глазах стал таять в синеве.

Простой ужин я унес в верхнюю гостиную с телевизором и при свете настольных ламп и уличных фонарей смотрел новости. Внешний мир был тут как тут. И неминуемо заявлял о своих правах. Не умолкали дискуссии о Фукусиме. Бравые русские эмигрантки, повыходившие замуж за местных самураев, наперебой уверяли, что покидать свои дома и не думают, хотя давно пора было согласиться на эвакуацию, чтобы уберечь детишек от растущей радиации. Однако соседи японцы, да и свои мужья, не того, мол, оказались десятка. Не бегут здесь от стихии куда глаза глядят… В Афганистане — очередной кирдык. В центре Кабула от самодельного взрывного устройства пострадало двадцать человек, среди них сотрудники ООН. На том же канале обещали показать какую-то помпезную тусовку, с шумом прошедшую в Лондоне день назад. Юбилей Горбачева. Почему юбилей бывшего генсека справляли в Лондоне, понять было трудно.

Белесая, как кукла, с прилипшей к губам улыбкой, Шэрон Стоун, поводила своим давно не девичьим станом, словно пытаясь выпутаться из сетей соблазна — и не могла не прельщать, не могла не оставаться собой даже в такой момент, позируя перед

людным залом, и зал сплошь ломился от знаменитостей.

Вести вечер ей помогал напарник, томный щекастый тип с миной врожденного добряка, какие бывают у клоунов — тоже актер кино и тоже голливудского. И он-то вызывал больше доверия, пиарщик знал, что делает. Заигрывая друг с другом, как любовники, впервые появившиеся вместе на публике, парочка умело подогревала атмосферу. Но зал действительно переполняли одни кинозвезды. Это выглядело и неожиданно и странно. С чего это кинозвезды собрались чествовать последнего советского генсека, словно престарелого Чаплина или Хичкока?

С приходом к власти «юбиляра» я и покинул нашу общую с ним родину. Сегодня, годы спустя, его и вправду легче было принять за артиста, загримированного под Горбачева, настолько бедняга сдал, опух. Опознавание упрощала и блямба на голове. На лице юбиляра ни улыбки, ни тени радости, ну хоть бы из вежливости. С какой всё же стати происходит это в лондонском Альберт-Холле? Почему с таким размахом? При чем здесь Голливуд и кинозвезды? В сподручные подвизался даже Стинг, одаренный возможностью поприветствовать генсека по прямой трансляции. При чем здесь рок-музыка и престарелые дядьки «скорпионы» в садомазохистских нарядах, распевающие какой-то сингл — не из слов, а из лозунгов, до идиотизма сентиментальных, непереводимо-глупых. Подавался же музон под предлогом, что такие вот «хиты» и были в ходу в свое время. И вообще, хит не хит, а Берлинская стена так, дескать, и мозолила бы глаза по сей день, разделяя весь мир на правильный и неправильный, если бы не наш достопочтенный юбиляр.

Опухший соплеменник вызывал жалость. Этакий простолюдин, купившийся на барскую милость и тем самым всех своих сородичей поставивший в один с собою ряд. Я боролся с наплывом чувства всё того же хаоса. Что еще можно от этого испытывать?

Перед художествами реального мира блекнет всё. Какое место литературе, тексту — вроде того, что сейчас перед глазами читателя, — отводится в мире кривых зеркал? Не безрассудство ли верить в права очередного меньшинства лишь потому, что сам к нему принадлежишь? И почему это меньшинство должно вызывать более уважительное отношение к себе, чем просто сексуальное?

Не досмотрев мистерии до конца, я пошел копаться в книгах, хотелось выбрать что-нибудь на ночь, чтобы не уснуть с отравой на душе. И я сразу же остановился на стареньком томике Хемингуэя *(«Фиеста» и другое*), таких книг я не открывал много лет.

Старыми связями начинаешь дорожить тем больше, чем дальше оказываешься от привычного мира. В глуши от всего старого ищешь не спасения, а пытаешься найти в прошлом ответы на всё то, что кажется непонятным о себе в обычное время, когда живешь обыденной жизнью. Но вряд ли я отдавал себе в этом отчет, когда позвонил Арно де Лёзу на следующий день.

Звонить пришлось в Кабул. Он не ответил. Номер с московским кодом, конечно, высветился на дисплее его телефона. Он должен был перезвонить. Или написать мейл — дешевле. Так обычно и происходило.

И действительно, уже вечером Арно ответил из Кабула:

«Ты прав, здешняя жизнь засасывает. У многих память как отшибает. Но я не забыл о тебе. Как раз собирался сегодня написать. Да, удивил ты меня планами осесть в Москве. Скажи-ка правду: а не заласкал ли тебя кто-нибудь своими объятиями? Не одна же русская весна так вскружила тебе голову?

Здесь опять подмораживает. Вчера я даже всполошился из-за деревьев в саду. Я насажал их в прошлом году, они дали почки, и вот опять холодина. Не знаю, чего во мне больше — терпения или смирения. Ты как считаешь?

А о тебе я вспомнил вот почему. Меня тоже заманивают в Москву. Один старый "кореш" зовет в гости. Тоже экспат. Работает на лондонский банк. Говорит, что у вас миллиардером можно стать всего за один год. Неужели, правда? Как ты считаешь, есть смысл попробовать? Нагрянуть на недельку? Твой…»

Де Лёза я знал уже лет двадцать. Первый муж давно сбежавшей от меня первой жены, он был старше меня, и мы не могли стать друзьями в обыденном смысле слова. Но нас связывало что-то безвременное и оттого, видимо, неразрывное.

Родом из семьи дипломата, Арно не мог прижиться на родине, во Франции. И это тоже нас чем-то роднило: получалось, что оба мы полуиностранцы. Когда он наведывался в Париж, надолго его не хватало. Французов, и вообще европейцев, он считал людьми обмещанившимися: слишком, мол, свыклись с тепличными условиями, изнежены комфортом, благополучием; отсюда и равнодушие, неумение понимать других, кто живет по-своему. Раз в год или два Арно заявлялся ко мне с бутылкой русской «Столичной». Сорт водки давно перестал быть брендовым, да и сугубо русским, не больше чем какой-нибудь русский «бренди». Арно отставал от жизни.

Помимо водки он приносил вино, коробку-две красного вина, которым запасался впрок, если планировал провести во Франции какое-то время. И вот вскоре он опять бросал винные запасы, опять разбазаривал свой погребок и отправлялся куда-нибудь подальше: в Тайвань торговать вертолетами, а когда не получалось с вертолетами — то коньяком из города Коньяк, или на худой конец — антиквариатом, какими-нибудь древними сундукам или талисманами императоров. Он мог внезапно поселиться в Китае, заключив брак с китаянкой. С тем же успехом он мог внезапно перебраться на жительство в Гонконг, во Вьетнам, в Сингапур, в Бирманию. В Мьянме он застрял лет на десять, причем в самые беспросветные годы, открыв в недемократичном Янгоне ресторан, пару торговых фирм и превратившись в своего рода эмиссара, присутствие которого на месте упрощает жизнь другим, уже официальным гостям с родины.

По отцу потомственный аристократ с иезуитскими корнями, по матери протестант, он умел послужить доброму делу за одно спасибо, но знал цену деньгам и жил в достатке. И вообще вел двойной образ жизни. Такой человек вполне мог бы работать и на спецслужбы. К тому же иезуиты всегда преуспевали в таких профессиях. Я вновь задумался об этой стороне его жизни, когда из Мьянме де Лёз вернулся в Сайгон, а точнее в Муйне, в очередной променяв одну страну на страну. Попытавшись заработать во Вьетнаме на гостиничном бизнесе, уже вскоре он переехал в Кабул, где развернул сеть булочных-ресторанов, предназначенных для обслуживания военного контингента — по его рассказам, разрастающегося.

Я встретил де Лёза в Шереметьеве через неделю. За ночь намело снегу. Уже третий день стояла оттепель. Снег на глазах превращался в лужи. За городом мокрый девственный снег не то лежал, не то плавал толстыми лепехами на поверхности непреодолимых луж.

Де Лёз был в своем обычном репертуаре. Он прилетел не из Азии, а из Африки, — рейс прибыл из Марокко. В добротном холщовом плаще на меху, в шерстяной шапочке, с небольшим чемоданом на колесиках, он выплыл из-за таможенных заграждений в сиротливом одиночестве. Не то первый, не то последний. Свой среди чужих, чужой среди своих. Вот так он и жил. С минимальным количеством багажа, всё необходимое умещалось в ручной клади.

Улыбаясь нерусской улыбкой, он направился в мою сторону. Мы обнялись. И пока мы, переглядываясь, шли к автостоянке, где я оставил простенький арендованный «шевроле», я по-французски объяснял гостю, что созвонился с его товарищем Жан-Полем, который пригласил его в Москву, и предложил взять на себя встречу в аэропорту. Раз уж тот ходил на работу, зависел от офисного графика, ну и так далее. С Жан-Полем Фуке я был знаком всего два дня, заочно, по телефону. За услугу, за встречу в аэропорт, он пообещал мне бутылку виски. Но в действительности мне меньше всего хотелось ездить в город только для встреч с де Лёзом. И всё это я уже объяснил последнему в мейле, который отправил день назад. За городом, где я обосновался, де Лёзу предстояло пожить пару дней. Так мы решили с его другом. А дальше будет видно…

В пятницу днем я объездил всю округу, довольно жутковато выглядевшую после стаявшего снега из-за черных лоснящихся обочин, повсеместно изгаженных

мусором. Большого выбора, конечно, не было, но удалось сделать нужные покупки. Продукты, особенно мясные, попадались хорошего качества. Дома нас ждал хороший обед.

— Или, может, остановиться хочешь? Выпить чего-нибудь… Чаю? — спохватился я. — Тебя хоть кормили?

— Кормили… Давай остановимся, если нужно.

— Встал ты во сколько?

— В пять.

Он с интересом косился по сторонам. А я уже выруливал на трассу, выводившую к МКАДу.

— Ты когда здесь был в последний раз? — спросил я.

— О, господи… Полжизни прошло. Даже не помню. В Грузию ездил. Решил прокатиться с подругой… И как вы тут? Всё жарите шашлыки на костре? — Он взглянул на меня с подвохом.

Движение на МКАДе оказалось не таким плотным, как по дороге в аэропорт. «Шевроле» летел со скоростью сто тридцать. И не хотелось сворачивать куда-то ради чая, искать приличное заведение в этой снежной грязи и нескончаемом нагромождении торговых центров. Мебельные и хозяйственные я всё еще с трудом отличал от развлекательных. Я предложил ехать прямиком домой. Там будет и чай, и всё остальное. И уже минут через двадцать мы с ветерком неслись по Киевскому шоссе прямиком в Ипёкшино.

Я приготовил тушеную баранину в красном вине. Рецепт не очень французский, во Франции такое мясом запекли бы в духовке. Но нормальный французский мясник никогда бы и не впарил покупателю «молодого барашка», как это принято в Подмосковье. Уж либо ягнятину, либо mouton, если угораздит покупать мясо в

мусульманской лавке, то есть — обыкновенную баранину.

Для себя я сложных блюд не готовил. Но перед де Лёзом хотелось блеснуть настоящей кухней, гостеприимством. Такого, как он, на мякине не проведешь, он умел готовить. Для маринада я использовал сухое болгарское, а для стола раскупорил бутылку чилийского шираза. Вино оказалось совсем ничего.

Мой гость усилия оценил. Маринованный вариант ягнятины с русской картошкой из Тамбова, в тонких ломтиках на пару, показался ему удачным. Один недостаток — с мяса не сцежен жир. Да и не хватало, на его взгляд, пучка душистого эстрагона.

Понимая конечно, что после обеда ему придется лечь поспать, на «дижестив», нарушая правила, я раскупорил бутылку виски, втридорога купленный на вечер «Талискер». А затем, вместе потоптав снежок вокруг коттеджа и заодно общими усилиями пополнив запас дров, которые я переносил частями из уличной поленницы в гостиную, чтобы досушивать березовые поленья в тепле, мы сидели перед полыхавшей печкой и болтали до самого вечера. И обязательно бы напились, если бы я не поставил рядом с бутылкой полную вазу с кубиками льда…

Скажи мне кто-нибудь вчера, что я буду общаться в Москве с одними французами, я бы просто не поверил. Но это было именно так. Жан-Поль позвал нас на ужин в среду. Японский ресторанчик на Кутузовском проспекте выглядел респектабельно. Француз-экспат жил с русской девушкой, молоденькой, лет двадцати пяти, довольно привлекательной внешности.

После недельного Ипёкшинского уединения один ее свежий вид казался мне заслуженной наградой. Но признаться себе в этом не хотелось. Я понимал, что должен сузить круг своих интересов до минимума, до главного. Ведь не для того я разгребал снег перед воротами, не для того сидел взаперти в чужом доме и прятался даже от родственников, чтобы вдруг почувствовать в себе интерес к общению, к чужим людям, проще которых, наверное, не бывает.

Жан-Поль называл подругу Наной. В действительности ее звали Наташей. Интимные нотки, вкрадывающиеся в его голос при обращении к девушке, звучали трогательно. Мы с де Лёзом даже переглядывались, ведь на молодежном французском сленге слово nana означает нечто совсем определенное, что-то среднее между «барышня», «герла». Темноволосая, молчаливая, не дура, очень просто одетая — проштопанные джинсики, черная кофточка, — девушка взирала на нас, гостей бойфренда, с некоторой настороженностью. Мы были из другого теста.

Но еще более неожиданным оказалось то, что Жан-Поль созвал нас всех справлять свой день рождения. Неужели больше не с кем? Ему стукнуло сорок два. На день рождения мы заявились с пустыми руками.

Де Лёз, несмотря на свои годы всё еще неутомимый волокита, не переставал чесать языком с Наташей. По-английски он говорил, пожалуй, лучше, чем на родном французском. Россия и русские ему всё больше нравились. Совершенно далекий от русской культуры, от местных нравов, он чувствовал себя в Москве как рыба в воде. Для таких, как он, это была буржуазная страна, где можно побарствовать — явление редкое для вчерашней мировой державы, потому что мир, как поучал всех де Лёз, окончательно «обдемократился».

Он говорил не унимаясь, хвалил закуски, пил больше обычного и даже порывался закурить за столом скрученную папироску. И мне пришлось его удержать.

— Нан, ты объясни ему, не понимает ничего человек… У нас тут другими категориями исчисляются вложения, — вмешался Жан-Поль в малопонятные для меня рассуждения Арно о странностях инвестиционной специфики Китая, где жил и процветал кто-то из его знакомых, очередной англосакс. — Вложить сразу и выгрести дивиденды… А уж потом, если есть что выгребать, вкладывать по-настоящему. Рисковать здесь никто не хочет. Другое отношение к деньгам, к стоимости…

— Так это то что нужно, — вставил де Лёз.

— Смотря, в какой позиции ты сам. Если ты вкладчик — да. Если должен работать с таким инвестором — мало хорошего. Палка о двух концах…

Я не ожидал, что они начнут говорить о деньгах, о ссудном проценте, и, стараясь не отставать от них, перегибал, как и они, с виски. Мне еще предстояло вести машину до Ипёкшино, а официант, похожий на девушку-старшеклассницу, удалялся в который раз с пустыми стаканами, чтобы вернуться с новыми дозами.

В глазах молоденькой Наташи я улавливал в свой адрес не меньшее расположение, чем к спорщикам. Она посматривала на меня всё смелее. Смеющимися зелеными глазами она словно спрашивала меня: а вы, неужели вы тоже болтун?

Вскоре официант стал носить на стол еду, не одни amuse-gueules[1], как выражался Жан-Поль, а настоящие блюда. И я прослушал начало очередной темы, подброшенной в разговор, кажется, де Лёзом.

[1] Закуски *(франц.)*.

— …В армии не бывает левых. В армии все лепенисты[2]. На то она и армия. Обратное было бы странно. Представь себе такую армию, которая оккупирует Афганистан… или, скажем, Сомали… да устанавливает там социализм… Да еще и в нашем французском варианте. Пособия, бесплатная медицина…

— Да, конечно болтовня, — не спорил Жан-Поль. — Францию разваливаем мы сами. Здесь, в Москве, сколько таджиков работает. Да они давно уже на весь физический труд наложили монополию. И скоро добьются того же в сфере обслуживания. Ну и что? Не собираются же они в шароварах, в парандже ходить по улицам!

— Может, и не совсем сами разваливаем, — не до конца соглашался де Лёз.

Над столом опять повисло молчание. В этих вопросах с де Лёзом никто обычно не вступал в пререкания. Он был слишком хорошо осведомлен и слишком любил обсуждать эти темы.

Вокруг нас опять заюлил официант. Жан-Поль просил сменить какие-то блюда. Его подруга что-то отвергала, ей подали не то что нужно, не то она просто ошиблась при заказе. И я опять пропустил часть дискуссии.

— …Это вообще общеевропейское явление. Везде, во всем мире, сейчас поворот вправо. Франция — только пример, не больше. Это связано не только с тем, что мы видим воочию. Такие вещи — искусственное явление. Ответ нужно искать там, где… где и кому это выгодно.

— Ну и кому? — спросил Жан-Поль.

---

[2] Жан-Мари Ле Пен — известный правый политик Франции, основатель партии Французский Национальный Фронт. — *Примеч. ред.*

— Хозяевам денег, — ответил де Лёз и, взвесив значимость своих слов, добавил: — А вот механизм выкачивания средств из поворота вправо мне лично непонятен. Тебя виднее должно быть из твоей системы… Механизм наверняка запутанный, многослойный. Понятно только то, что левые идеи, тоже искусственные, привели к обогащению, к защите определенного класса. Среднего… Ему дали разжиреть, дали накопить побольше средств. А вот теперь плод созрел. Можно грабить, средь бела дня… Но каким способом? В каком виде собраны накопления? Ну, в каком?

— Деньги, — закивал Жан-Поль. — Бумага…

— Не знаю… Наверное не только. Но даже если так, то осталось включить печатный станок и печатать. Себе самому, сколько душе пожелается. И за бумагу скупать… ну, скажем, недвижимость…

— Еще проще заменить деньги на электронные, — солидарно поддержал финансист Жан-Поль.

— Вот именно… Но люди часто сами не понимают, кому они служат. Они не видят общей схемы. Ее вообще трудно разглядеть… Поэтому правые идеи всё под себя подомнут… А то, что фашизм здесь ни при чем — это тоже факт, — продолжал де Лёз объяснять нечто необычное для моих ушей. — Это везде одинаково происходит. Нужна страшилка. Чтобы всё внимание оттянуть на нее. Чтобы рядом выглядеть… ну, как самый мягкий вариант. Ведь сами-то они ни на что не способны. Ни те, ни другие…

— Кто они, я не поняла? — виновато поинтересовалась скромница Наташа.

Де Лёз, улыбаясь ей сладкой, немного нездешней улыбкой, откинулся на спину стула, словно только теперь осознав, что внимает ему не один Жан-Поль. И ответил миморечью:

— Проблема в том, что всё меняется. Даже президенты. Из плохих становятся хорошими… Это реальность страны. Часть ее самоидентификации. Исконное население… Эти идеи людям близки. И как их не понять? Ведь им навязывают невероятные вещи. Прокатись по глубинке… да по Франции… посмотри, как живут простые люди. В какой бедности! И они не обижаются на свою бедность, на свою обделенность. Французы умеют жить скромно. Они обижены на то, что их хотят грабить средь бела дня и дальше, что отнимают уже не хлеб, не материальные блага, а фактически родину… Такого с ними нельзя делать. Они опять ринутся на Бастилию. Какая разница, кто там засел? Получится, как у арабов недавно[3]… Ведь всё тоже самое. Везде всё то же самое…

— Одна причина, что ли? И там и здесь? — спросил Жан-Поль, будто чем-то расстроенный.

— Конечно, одна.

— Какая?

— Да, ладно, что это я вас.., — замялся де Лёз и опять стал улыбаться девушке.

Позднее, когда мы уже сели в машину, он принялся разъяснять мне ту самую «причину» — уже мне одному. Как же он любил поговорить.

Тема навевала на меня уныние. И вместе с тем немного ошпаривала сознание — от самого ощущения, что соприкасаться приходится с чем-то запретным, хотя вроде бы и стараешься всё это не трогать и не видеть. Я почему-то всегда испытывал похожее чувство, когда разговор заходил о французских «фехтовальщиках», — так называлась любимая тема де Лёза про «мастеров-строителей». И даже несмотря на то, что этой теме сегодня посвящались книги, и

[3] Имеются в виду т. н. «цветные» волнения в арабских странах 2011-12 гг. — *Примеч. ред.*

выходили они всегда в крупных издательствах, а в витринах газетных киосков красовались что ни день обложки периодических изданий с изображением и циркуля, и «лучезарной дельты», язык от этих разговоров всегда гипнотически тяжелел.

Мир будто бы опять лишился иммунитета. Цикл будто бы опять привел к пресыщению, к разрушению защитных реакций, к утрате иммунитета. «Простые люди», эти вечные горемыки, повсеместно обреченные на материальную зависимость и лишения, к которым Арно, вечный искатель злата, испытывал, как я понимал, сочувствие, — простые люди не могут этому противостоять. Слишком уж наивны, утверждал он. От горькой участи их может уберечь только дьявольская расчетливость. Но на нее уйдет вся их энергия. А это не позволит им ни кормить себя, ни рожать детей. Но поскольку именно такие люди и составляют поголовное большинство, то мир, видимо, просто создан для того, чтобы кто-то один сидел у всех на шее. Такова людская природа. Сообразно своей природе люди и обустраивают мир, в котором живут. На что же сетовать?

Отсюда и все беды. Верить в то, что цунами, эта адская угроза для всего «цивилизованного» мира, к которому мы, люди «простые» и «непростые», себя причисляем, вдруг почему-то вхолостую растратит свою разрушительную энергию, не достигнет берегов, — разве это не абсурдно?

Арно был пессимистом. И он умел со своим пессимизмом жить, умел оставаться собою. А вот меня это приводило к тяжелым раздумьям.

За день до приезда де Лёза главной моей целью было купить хорошее мясо, чтобы накормить его

обедом, найти приличное вино и побольше хорошей питьевой воды, и при этом еще и «не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома…» Этот риск был вполне реальным от одних поездок на машине мимо дачных заборов. Безутешные мысли так и лезут в голову, когда сидишь за рулем в распутицу и проезжаешь через подмосковные деревни, сиротливые, безлюдные, почерневшие от сырости и времени.

Когда я писал свой первый роман, главным мне казалось издать его в том издательстве, книги которого, полное собрание сочинений Л. Толстого в ста с лишним томах, я увидел в книжном магазине на Тверской, да еще и получить такой гонорар, чтобы его хватило на оплату задолженностей по коммунальным платежам в Париже, накопившимся за съемную квартиру, тогда еще с адресом в семнадцатом округе.

Когда я женился, мне казалось важным остаться прежним, вчерашним, свободным. Не превратиться в животастого папашу, не превратить всё в рутину, в том числе и законные постельные утехи, говорил я себе, после которых иногда не хочется уже ничего. Мне казалось тогда важным не стать представителем «среднего» класса, сохранить неизменными отношения с прежними друзьями и подружками, количество которых убывало на глазах. Вместо них появлялись более обеспеченные, более именитые и более похожие на меня самого. И уже тогда появилась первая усталость от всего «среднего». Всё среднее быстро пресыщает, но остается чувство, что живешь впроголодь.

Позднее, когда впервые по-настоящему понимаешь, что невозможно испробовать всего, что жизнь требует избирательности, самоограничения, приходится на ходу менять местами приоритеты. И тогда ограниченность всего плотского, телесного уже не

выглядит теорией, придуманной грешниками, которым посчастливилось вымолить себе прощение.

Самореализуясь до конца — теряешь всё. Всё, что остается потом, это раствориться в жизни. Но это значит заблудиться в себе самом. Человек, подобно некоторым элементарным частицам, существует только в движении. Главное в жизни не терпит завершенности…

Я уехал из Советского Союза летом восемьдесят пятого года. Французский консул, курировавший мой отъезд, вышел из кабинета вместе со мной, чтобы проводить меня до лестницы. Пожимая мне руку, он даже слегка обнял меня, прежде чем неловко добавить, что сыну его столько же лет, сколько и мне. А когда я спустился в нижний холл консульства на Якиманке, я услышал над головой робкие аплодисменты. Сотрудники, одни женщины, откуда-то узнавшие о моем визите, вышли из офисных каморок на внутренний круговой балкон, чтобы молчаливо выразить свою солидарность — не со мной лично, никто из них не был со мной знаком, а с самим фактом, что кому-то удалось добиться невозможного, вырваться из системы, из несвободы, — так я тогда считал. И в тот миг я подумал, что мне, видимо, действительно по-настоящему повезло.

Консул снабдил меня странной по тем временам визой. По прилете в Шарль-де-Голь visa d’établissement (на поселение) привела запаренного от духоты пограничника в такое недоумение, что он позвал на помощь коллег в штатском, в костюмах, которые без акцента говорили на языке этой книги.

Мой приезд во Францию пришелся на летние отпуска и попал в пику журналистского спроса.

Любителям листать газету за утренним кофе скармливать в это время особенно нечего. И пару дней, пока обо мне не забыли, я видел свой лик — удивленно глазеющего на знойный Париж русского изгоя — в стеклянных витринах газетных киосков. Даже Пари-Матч умудрился выкупить фотографии у какого-то фрилансера, который позвонил Мишель, моей тогдашней половине, прямо в дверь и попросил дать ему возможность заработать. Его снимки, полупрофессиональные, были вскоре напечатаны в полные развороты — нелепые, каникульные, со слезливым амурным душком, которого никогда не было в наших с Мишель отношениях.

Стояла умопомрачительная жара. Жара длилась весь месяц и спала лишь к тому дню, когда мы с женой наконец поженились. Мы расписались уже в Париже. Вроде бы уже и незачем. Она уже вытащила меня из проруби моего советского прошлого. Брак был формальностью. Но так было правильнее. Почти автоматическое и скорое получение гражданства, без которого по Европе особенно не покатаешься, тоже становилось формальностью.

В те дни, как-то вечером, находясь в гостях у американского друга Мишель, художника, мы втроем курили и распивали у окна красное бургундское вино. И нас вдруг заинтриговало неожиданное людское скопление людей внизу на проезжей части. На тихой узкой улочке, пересекавшей Марэ, виднелась безмолвная и неподвижная процессия, в самой гуще которой привлекала внимание лысина с темноватым пятном.

Вдруг я узнал Горбачева. Правда, сначала я не поверил своим глазам, хотя и знал по новостям, что он находится с визитом в Париже. На родине я видел генсека только по телевизору. Одно это давало понять,

что такое свобода — примитивная, буквальная, какая-то даже физическая, осязаемая на ощупь. Париж выравнивал всё, даже такой немыслимый разрыв в социальном статусе людей, которые никогда и ни в каком в другом месте не смогли бы физически оказаться на столь близком расстоянии друг от друга, не ближе, чем на длину километрового официального кортежа с охраной.

Мой отец оставил нас с матерью одних, когда мне было три года. И я всю жизнь считал, что он правильно поступил. Потому что мать смогла выйти замуж за человека, которого по-настоящему полюбила и с которым прожила до конца своих дней. Мне же это позволило стать сыном офицера, пусть приемным, и научиться с детства многим вещам, которые недоступны детям в обычных семьях: вставлять обойму в «Макаров», водить «Газ-69» в возрасте, когда руль еще мешает смотреть на дорогу, ездить на ночную рыбалку, на охоту. А еще ценить некоторые правила жизни, с которыми позднее я чаще бывал в раздоре, но вряд ли с ними расставался. И вообще говоря, без всего этого я бы никогда не научился любить и идеализировать свою родину.

Правила — этого было больше всего. Некоторые из них я обнаруживал в себе лишь со временем, годы спустя. Я до наивности плохо переносил вранье, хотя сам искусно умел и врать и лгать, умел не путать одно с другим. Я был патологически несгибаем, горд, выносив и самоуверен, чем мог навредить себе в самой обыденной жизненной ситуации, даже во время ссор с женой, с обществом.

Я отучился на германиста, с педагогически уклоном, хотя не собирался посвятить себя ни тому ни другому поприщу. Немецкий язык я пошел учить, чтобы сразу же, лет в семнадцать, найти себе какое-нибудь

неординарное занятие и чтобы переплюнуть отца-отчима, который служил когда-то в Германии, любил говорить по-немецки, но не особенно в этом преуспевал.

Мир быстро изменился. Родители быстро состарились. Мать умерла от болезни, когда ей было чуть больше, чем мне на день написания этих строк. Отец, старик стариком, после моего шумного отъезда за границу отовсюду уволенный, корпел все эти годы на своей дряхлеющей даче, решив прокормить себя с земли, как и многие сослуживцы. А может быть просто не находил в жизни другого смысла после того, как стал вдовцом, и после того, как развалился его мир, его страна. Но так все видится задним числом, когда всё давно позади.

Тогда же, в советское время, в годы моей молодости, мир разрывали противоречия невидимые. Мы жили с ними, как слепцы, не знающие, как выглядит палка, с которой они ходят, но воспринимали это как что-то само собой разумеющееся, потому что просто не знали ничего другого. А годы спустя оказалось, что главные противоречия, заложенные в саму жизнь, для всех одни и те же повсюду. Как для слепых, так и для зрячих. Главное не в системе, а в нас самих. И в этом есть что-то непостижимое, предначертанное.

Предначертанность была и в том, что Мишель, моя первая французская жена, вытаскивавшая меня из омута моего советского прошлого, чтобы выйти за меня замуж, и прославившая меня в переменчивой среде министров иностранных дел и дипломатов, так и не нашла во мне своего счастья, ради достижения которого потратила столько сил.

В мире всё почему-то абсолютно. Каждый миг, каждое чувство, каждое событие, каждая перемена. Но не будь этого, реальность, наверное, рассыпалась бы

перед нами в крошево постоянно, целиком. У реальности нет другой альтернативы, нет запасного измерения. При этом всё каким-то невероятно жестким образом связано, словно тесловский эфир. По-другому всё это существовать не может. Всё единично.

Я всегда это понимал. Но не мог и шагу дальше ступить в понимании этих непостижимых закономерностей моей жизни.

Мишель могла проводить в постели дни и ночи напролет. Стройная, невысокая, щуплая, в те годы еще не утратившая привилегий своего возраста и той особой обольстительности, свойственной некоторым породистым француженкам, — Мишель все свои нужды сводила к постели. Секс для таких, как она — серьезное жизненное занятие. И она ставила его выше своего «я», выше своего благополучия.

Наши долгие утехи никогда не были однообразными. Мы хорошо друг друга понимали. Хрупкая двусмысленная игра, в которую постепенно перерастали наши плотские отношения, а с ними и все прочие, чем-то напоминала детскую пошаговую игру «брось кубик — двинь фишку». И даже десять-двадцать лет спустя воспоминания о тех днях вызывали у меня дрожь в руках. Всё это оставило во мне какой-то утопический, несбыточный привкус чего-то реально существовавшего, но упущенного. Не любовь, не слюнявые сантименты, а нечто упругое, здоровое, физическое — вот, что нас связывало.

Литература, на которой я был женат в тайне ото всех, незаконно, обрекала меня на двойную жизнь. Это не сулило ничего хорошего. Хотя Мишель вряд ли в чем-то меня подозревала. Но уже тогда я начинал

догадываться, что Мишель ни в чем не могла реализовать себя по-настоящему.

Иногда я с заминкой в душе вспоминал про Громыко, про обращения к нему послов и министров, просивших отпустить меня жить своей жизнью. Что бы он, бедняга, подумал о жизни вообще, о собственной судьбе, если бы узнал, ради чего все эти люди так пеклись и на что сам он тратил время? В этом проглядывала какая-то мучительная правда жизни, и она очень помогала ставить под вопрос свои спонтанные душевные порывы. Главное в жизни — это всё же не то, что мы привыкли называть громкими словами.

Одним словом, это могло бы продолжаться вечно. Одна беда — к сорокам годам плоть увядает, и красота, не вся, но всё же немалая часть ее начинает иссякать, хотя и говорят, что француженки в этом возрасте не стареют, а только еще больше расцветают, в отличие, скажем, от румынок или украинских раскрасавиц, несомненных чемпионок на подиумах, если устраивать конкурсы и делать сопоставления на основе одних внешних данных, которых им досталось конечно же больше, чем всем остальным вместе взятым. И если такая женщина, немолодая француженка, не успела нарожать детей, пусть даже уже после тридцати или тридцати пяти лет, то жизнь свою она, считай, угробила.

Я знал, что у Мишель были связи с женщинами, в юности и позднее. Но как-то не тяготился этим. Больше того, и это довольно странное чувство, мне казалось, что через нее мне что-то перепадает и от других, от тех, с кем она имела близость… С годами я додумался даже до этого.

Как бы то ни было, я довольствовался только ею и в реальности физически ни разу не изменил ей за время

нашей совместной жизни. При одной мысли о нашем парижском окружении тех лет с его несметным количеством соблазнов, которые поджидали нас на каждом шагу, сегодня мне это кажется невероятным. Ведь постоянно, откуда ни возьмись, появлялись молодые особы, и русские и нерусские. Подруги друзей, жены знакомых. Некоторые из них внешне были намного привлекательнее моей жены. Но они мне казались стерильными, асексуальными.

С тех пор я навсегда усвоил простую истину: такие понятия, как «красота» и «секс» — понятия разные, в чем-то, наверное, соприкасающиеся, но не больше. С тех же пор я твердо и навсегда вывел для себя, что даже если и остаюсь, как большинство мужчин, чувствительным к нормированным шаблонам женской красоты, усредняющим всё эталонное и одинаковое, я уже никогда не смогу испытывать влечения физического, природно-гормонального к смазливой внешности, к пустышеству. А именно это и является общепринятой нормой…

Я не мог дать Мишель того, в чем она нуждалась. Это становилось ясно как божий день. Очевидным было и то, что этого не даст ей ни один мужчина, ни один француз, по крайней мере из тех, кто окружал нас с нею. У нее не могло не появиться прежних связей на стороне. Я не боялся этого. Я просто не знал, к чему это приведет. Но не шло ли всё к краху с самого начала? Не пора ли ей выгнать меня взашей? К моей незаконной жене — литературе.

Сам я давно зарекся не быть больше разрушителем, ни в какой форме. Ни семьи, ни своей судьбы, ни чужих иллюзий. Я понимал, что достаточно настроить себя на что-то другое и как следует этого захотеть, и всё меняется, как по мановению волшебной палочки. Из разрушителя ты вдруг превращаешься в созидателя.

Нечто аналогичное я наблюдал каждый день, когда пытался дать жизнь этому распространенному противоречию на бумаге, в своих сочинениях, заставляя своих персонажей пожить с этим противоречием и наблюдая за тем, что из всего получится. А получалось следующее: независимо от того, пишешь ты об условно «положительном» персонаже или об «отрицательном», текст всё равно расползается и разбухает в равной степени. Сюжет всё равно выстраивается. Литература вообще безразлична к морали. И это довольно поучительно. По форме всё, видимо, равноценно. Словом, я не хотел ничего менять сам. По большому счету я просто не хотел никакого отрицания. Оно отняло у меня столько лет жизни.

Последняя связь Мишель, причем с русской девочкой лет двадцати двух, непонятно откуда взявшейся, оказалась для нас фатальной. Я пытался убедить Мишель, что юная белесая Лизанька, тощая и смазливая, как фотомодель почитаемого нуворишами Версаче, который морит своих дурочек голодом, отнюдь не божий одуванчик, которого она из себя корчит. Даже я, мужчина, в глазах у нее, у Лизаньки, видел не сиротство юной обездоленной эмигрантки, а бездонный порок, готовность к любому сиюминутному эксперименту, к разврату в любой его разновидности. Как мужчина я видел, что она из тех, кто вызывает острый, но быстро утоляемый плотский зуд.

Она была типичным «шаблоном». Я даже было собирался продемонстрировать жене свою правоту на деле, предлагал соблазнить девочку и, если угодно, затащить ее в наше супружеское ложе, чтобы оказаться в нем втроем. Я даже был уверен, что эта девочка рассчитывает именно на такой ход событий. Но до этого так и не дошло. Отношения с Мишель расползлись, просто иссякли, умерли.

Жить нам лучше было врозь. Детей я не хотел. Мне казалось, что мы наплодим безродных гибридов. Не русский, не француз, а какая-то помесь, — примеров вокруг предостаточно. К ней, к Мишель, я тоже больше не испытывал влечения. От Франции, от этого рая для беглых гениев и провинциальных гедонистов, меня уже как следует воротило, как от чашки эспрессо в каком-нибудь захудалом парижском кафе, из которой пахнет не арабикой, а чьими-то слюнями.

Живя в Париже, французов я сторонился, считал их мелковатыми, закомплексованным, скучными. Общался больше с простолюдинами, в которых еще сохранялась, как мне казалось, чистота и благородство той, другой, немного гасконской Франции, которую придумали Дюма и ему подобные. Да и то только для нас, для русских, чтобы нам, вечным мечтателям, было о чем мечтать, а другим, глазея на нас, будто в зеркало, было бы чему удивляться.

Я переехал жить в пустующую квартиру знакомого. Находилась она, правда, не в Париже, а в Версале. Дороговато, но куда деваться. Решение я принял разумное. К тому же я почему-то всегда хотел жить именно в Версале. Наверное просто в силу своего неведения. Чем-то это слово мило русскому слуху. Совершенно не готовый к тому, что разрыв с женой в зрелом возрасте может привести к настоящему краху (ведь столько их уже было раньше, в молодости, и ничего!), около года я прожил в полном одиночестве, в депрессии, но в такой, какая лечится только временем или еще каким-нибудь более сокрушительным бедствием, которые обычно затмевают наши представления об отмеренных нам невзгодах. Это был не крах личной жизни, а крах всего моего существования.

За этот год я стал нищим и по сути бездомным. Мне с трудом удавалось платить даже за временный съем скромного жилья. Благо друзья терпимо относились к задержкам. Но именно замкнутый образ жизни, отсутствие каких-либо перспектив, и позволил мне закончить свой первый настоящий текст.

Роман вскоре вышел. Правда, пришлось протереть не одни джинсы, переписывая его от начала до конца, и сносить не одну пару кроссовок в аллеях парка при Версальском замке, чтобы в голове, на ходу довести текст до нужной формы. Особое пространство необъятного парка, бесконечная перспектива и нечто крестообразное, наподобие формы самих водоемов, без которых парк никогда бы не выглядел таким бесконечным, — это чувствовалось даже в построении моего романа. В нем тоже просматривалась перспектива и тоже бесконечная, как в зеркале, в котором отражалось другое зеркало…

Тощая Лизанька вышла замуж, как я узнал, за школьного преподавателя. Им оказался длинноволосый мещанин в английских туфлях с дырочками. И я даже был с ним знаком. Однажды повстречав его на какой-то вечеринке, я не смог пройти мимо молча и отвесил ему что-то колкое, как мне потом рассказывали, что засело в него на годы. И правильно сделал.

Мишель уехала жить к давней подруге в Бразилию, к которой она привязалась еще в ранней молодости. Жили обе в Рио. Как до меня доходило, Мишель часто болела. Чем именно — выяснить не удавалось. Общие знакомые все поразъезжались. А сама она мало давала о себе знать…

Ванесса — пока я не знал, как ее зовут — ела мороженое в кафе Версальского парка, которое новичок сразу даже и не найдет в лабиринте из высоких зеленых насаждений.

Незнакомка была одна. Когда ей принесли счет, выяснилось, что платить ей нечем — кошелек украли. Я сидел за соседним столиком, допивая кофе, заказанный только ради стакана бесплатной воды, и внезапные женские слезы, диссонировавшие с атмосферой полной расслабленности, которая царила в пустовавшем уличном кафе под открытым небом, меня поразили больше, чем сама мысль о том, что в этом месте, в Версальском замке, могли кому-то обчистить карманы. Я всегда здесь чувствовал себя, как у Христа за пазухой, и ни о чем другом не думал, кроме как о своих сюжетах, текстовых набросках, которые только здесь мне и удавалось наговаривать на диктофон, выжимая из себя, на волнах вдохновения, сносные фрагменты для последующей работы. На что тогда вся охрана и даже мобильные наряды CPC[4], дежурившие в парке круглые сутки. Даже после закрытия всей территории в отдаленных уголках водоемов в форме креста можно было наткнуться на их машину, в чем я не раз смог удостовериться, опаздывая к калиткам до закрытия.

В больших черных очках, белокурая, в юбке с голыми белыми ногами и в чем-то легком, шерстяном поверх плеч — девушка походила на туристку из Скандинавии. Таков был тип лица — правильного, с коротким и будто из мрамора выточенным носом. Типажу соответствовало и телосложение, немного суховатое и аскетическое, несмотря на нормальную не девичью комплекцию, без нимфеточной костлявости и без просвета между ног, через который могла бы

[4] CRS, аналог российского ОМОНа во Франции. — *Примеч. ред.*

проскочить, как бывает, юркая собака. Но оказалось, что она француженка. Правда, с польскими корнями. А покопавшись еще — получалось, и с русскими: одна из ее прабабушек училась в институте благородных девиц в Воронеже…

Подробности ее родословной я узнал в нашу первую прогулку, на которую она как-то нелепо, с некоторой беспомощностью согласилась по выходе из бюро находок, куда я напросился проводить ее в первый день знакомства: а вдруг полиция поймала пик-покета с ее вещами.

Она мне нравилась. Но не как женщина, уж слишком была крепкого, почти спортивного сложения, тогда как я по старинке пришибал за стройной худобой. Но у нее была удивительная, какая-то неожиданно светлая улыбка, от которой она морщила свой строгий нордический лоб и оголяла розоватые десны, прежде чем расцвести щеками, всем лицом. Светло-серые глаза всматривались всегда с веселой иронией и некоторым недоумением. Улыбка в общем-то редко сходила у нее с лица в нормальное время суток. Но это я узнал со временем.

Мы шлялись по парку почти каждый день. Она жила в предместье Версаля, в аккуратном двухэтажном домике, окруженном настоящим зеленым сквером, квартиру в котором, студию с американской кухней и антресолью, сдавал ей молодой предприимчивый архитектор.

Недавно получив какой-то промежуточный диплом врача, до получения законченного медобразования Ванесса работала к клинике в Виль-д’Авре, почти по соседству. Ставка была не полной, внештатной. Поэтому она мечтала найти что-нибудь получше, с нормальным окладом. Она успела побывать замужем. Родители ее жили в Страсбурге. Единственным, по-

настоящему близким ей человеком была ее сестра, на пару лет ее старше. Но у той уже было трое детей, и общаться становилось трудно: семейный быт, неурядицы с мужем, трудности сестру засосали. И наконец, самое интересное — в моих, по крайней мере, представлениях — заключалось в том, что еще с юности Ванесса пыталась писать сама. Думаю, что это и заставило нас подружиться как следует. «Книжный» дух, стоит с ним однажды соприкоснуться и уж тем более проникнуться им, стоит отважиться на самостоятельные пробы пера, в человеке после этого уже неистребим, даже если сам он этого о себе обычно не знает. Отпечаток остается на всю жизнь.

Вечерами Ванесса приезжала к парку на своем синем «пежо», иногда прямиком с работы. Я, как правило, ее уже дожидался. Парковалась она не там, куда обычно пытаются заехать все, кому не хватает места на главной платной парковке, — не у зданий, в которых проходят сборища небезызвестного Бильдербергского клуба, а на бесплатной стоянке перед парком справа. Оттуда мы попадали в парк через боковой вход. И уже вскоре мы привыкли проделывать вместе километры. В обход «креста» из водоемов расстояние для пешей прогулки получалось совсем нешуточное.

Так же естественно, но это произошло совсем не сразу, мы оказались однажды у нее дома, где я раздел ее, осмотрел, немного как на приеме в медучреждении, где она работала, и, не дав ей сходить в душ, очень долго стяжал ее упругое тело с развитым тазом и крохотной девичьей грудью…

Ничего более святого, чем книги, литература, не было для Ванессы на всем белом свете. Оставалось удивляться, почему она пошла учиться на медика.

Она не понимала, уже немного разобравшись во мне, почему мне так трудно печататься — как на родине, так и здесь, на Западе. Ведь помимо того что я был врожденным, самоотверженным графоманом, что наделяло меня, вопреки расхожему мнению, всеми шансами выбиться в знаменитости, потому что это отсекает пути к отступлению, — так она считала, — помимо того, что я был еще и на редкость продуктивен, ведь я писал вроде бы солидные, увесистые вещи, к тому же совершенно ни на что не похожие, которые производили впечатление абсолютно на всех, причем на людей самых разных, а это казалось Ванессе важнейшим плюсом, — своей прозой, уверяла она, я попросту «реабилитирую» всю русскую литературу постсоветского времени. По крайней мере, в глазах тех последних долготерпимцев, кто еще пытался в современных русских книгах найти хоть что-то, кроме провинциального нытья и какого-то ножного запаха, каким несет иногда от пребывающих на носилках в отделение скорой помощи. В своих оценках Ванесса бывала беспощадна.

Всё остальное жалкое экспериментаторство современных русских писателей отдавало временами наезда русских танков на авангардистскую Чехословакию, со всей бредовой болтовней про расплывчатый постмодернизм, который в Европе, где он появился полвека тому назад, давным-давно канул в лету. И не по этой ли причине в подходе русских к литературе чувствовалась противоестественная мешанина, что-то не просто позаимствованное или навязанное со стороны, а чуть ли не кровосмесительное. Так вот чехи смешались со словаками. Сербы с хорватами. Все одно — славяне. С кого тут спрашивать?.. Так вот Ванесса и рассуждала. Иногда я внимал ей с открытым ртом.

Она не ошибалась только в одном: в интуитивном нежелании копаться в русских «измах» последнего времени. Как типичный западный читатель она не знала, что такое постмодернизм, и не интересовалась подобными вещами. Сам же я, пройдя через ту же школу жизни, что и все, — через все эти «школы для дураков», в которых учишься чему угодно, любым творческим пакостям, но только не письму, — с годами я научился понимать, что это явление, постмодернизм, есть ничто иное как заимствование, да еще и перенесенное на почву отрицания и нигилизма, старого и совсем недоброго, который имеет очень давние корни. А вот это русское явление — нигилизм — уж и подавно никому ни о чем не говорит, даже самим русским, страдающим, как известно, короткой памятью.

Во время наших прогулок я объяснял Ванессе, хотя и сам не до конца это понимал, что нет ничего более странного, непредсказуемого, чем судьбы литературных произведений, да и вообще произведений искусства, если между этими понятиями есть хоть что-то общее.

Один из самых известных во Франции русских писак учился когда-то со мной на параллельном факультете. Но меня отчислили. А он доучился до конца. Писал он средние простенькие вещи, предназначенные для простоватой западной публики, которая ходит на демонстрации и в кино, рекламируемое на уличных стендах. Я регулярно видел его на парижских тусовках, видел его даже в книжном магазине у себя под домом в Париже, где ему устраивали встречи с читателями. И даже через витрину, с тротуара, я замечал, как он быстро стареет. Но он и по сей день, видимо, не знал о моем существовании. Вот так и устроен мир

настоящий, правильный. Орбиты в нем сплетаются, но не смыкаются.

Если холст настоящего мастера может быть открыт и оценен годы спустя и даже столетия спустя может занять свое место в ряду с другими шедеврами эпохи, то с литературным произведением это невозможно. Срок жизни в литературе куда более ограничен. Наверное, потому, что она сильнее влияет на развитие общества и нравов. По истечении этого срока остаются одни мощи, по которым вряд ли можно о чем-то судить. Разве что о праведности их обладателя…

Нормальный приличный писатель — всегда неудачник. Удачливый писатель — в чем-то анормален, быть им неприлично. Закон больших величин проявляет себя и здесь. Не может умный честный человек быть счастливым. На это ему в жизни отведены только секунды. А секунды не в счет. Потому что счастье это не что-то, что бывает, что встречается, а нечто такое, что должно всё-таки длиться.

Моих философствований Ванесса не понимала до конца. Так же как не понимала, почему я, если я не фетишист, занимаясь любовью с женщиной, предпочитаю ее не полностью обнаженной, а полураздетой — в белье, в носках, в свитере, в чулках, в больничном халате, в любом тряпье. Почему я не люблю ее вымывшейся, надушенной? Почему, мечтая иметь много детей, я постоянно оставляю эякулят у нее на животе, в ладошке, где попало, тем самым беспощадно транжиря свои шансы воплотить желаемое в жизнь? Откуда во мне эта абсурдная уверенность в себе? Уверенность в том, что жизнь моя будет длиться вечно и что добиваться совершенства можно выборочным способом, дозируя свою энергию, свою плоть, свои душевные порывы. Тогда когда жизнь —

это то, что есть. Сегодня, сейчас. В данный миг. И ничего больше…

Одна из литературных встреч, подстроенных Ванессой, пробороздила мою жизнь надолго вперед.

Однажды Ванесса познакомила меня с одной из своих бывших пациенток, которая попала к ней в клинику по скорой помощи и оказалась издательницей, то есть, попросту говоря, ответственным редактором. Работала она в небольшом, но известном издательском доме.

Моя Ванесса давно, оказывается, меня раскусила. Она давно поняла, как работает механизм, для меня самого непонятный, но заведенный во мне до упора, благодаря которому я и оставался на плаву, несмотря на все свои душевные и интеллектуальные девиации. Только благодаря этой внутренней пружине я и продолжал во что-то верить, чего-то ждать от жизни и, собственно говоря, писать о ней, о жизни, находя в себе силу отстраняться от черных сторон существования, от мрачных констатаций, к которым я бывал склонен.

Вполне вменяемым, полноценным, «полным жизни» человеком я был, на взгляд Ванессы, только в постели. И не мог иметь никакой сколько-нибудь серьезной цели, не мог ни к чему стремиться без опоры на «основной инстинкт», лишившись этого стимула. Мир без секса казался мне якобы стерильным и вызвал во мне смертельную скуку и упадок духа, потерю интереса ко всему на свете. А воли во мне якобы не хватало, либо вообще не было ничего похожего на волю, чтобы ею — волею — компенсировать, как многие другие, нехватку моего главного и не столь уж примитивного стимулятора. Как бы то ни было, ради

меня самого, из самых искренних душевных побуждений Ванесса даже не прочь была мною «поделиться».

Черноволосая Эстер из издательства была лет на пять постарше Ванессы. Невысокая, с правильной фигурой, с правильным молочно-белым лицом и перламутровыми губами, — на мир эта женщина смотрела странноватыми блуждающими глазами, которые уже через мгновенье, стоило посмотреть в них прямо, как подобает, наполняли чем-то сладковатым, обволакивающим. От прямых взглядов лучше было воздержаться.

Эстер мне всегда кого-то напоминала. Наверное своим запутанным происхождением — от колена Данова, как она уверяла, вобрав в свои гены много всякого и отовсюду. Именно эта многоликость, сходство со многими и в то же время ни с кем конкретно, и вызывала при знакомстве с ней некое гипнотическое торможение в голове. Но доходило это не сразу, а позднее. Потому что только потом становилось ясно, что ты такой же, как все, также подвержен срывам — был бы повод, — и что ты себя совершенно не знаешь…

Поразительную предусмотрительность Ванесса проявила даже с местом знакомства. Оно состоялось в муниципальном бассейне, куда мы с ней ходили по пятницам, а иногда в субботу, если погода была дождливая и бег в парке или пешие марш-броски отпадали. Она просто предупредила меня, что в бассейн придет какая-то ее подруга.

Стройная Эстер уже плавала в своем черном закрытом бикини, когда мы вышли из предварительного душа к витражам, где обычно оставляли полотенца, прежде чем спуститься в голубоватую воду.

Они плавали вместе на одной дорожке кролем. Но Эстер иногда переходила на брасс и Ванессу немного обгоняла. Я же предпочитал бороздить водяную гладь в своих черных ластах, при этом стараясь держаться не у самого края бассейна, чтобы не заехать ластами кому-нибудь по носу, потому что першащая от хлорки, вода то и дело вскипала рядом от чьих-нибудь барахтаний.

Время от времени мы втроем делали передышку у дальней металлической лестницы. Новая знакомая мне задумчиво улыбалась. Я же вопросительно поглядывал на Ванессу, о чем-то, наверное, уже догадываясь, уж слишком подруга была недурна собой, даже в своей гладкой шапочке и без макияжа, чтобы Ванесса, женщина здравомыслящая, могла вот так, без задних мыслей и без всяких мер предосторожностей подпустить ко мне близко такую особу.

И действительно, словно издеваясь надо мной, Ванесса незаметно запускала руку под водой мне в плавки. Я отгонял ее. Но мне приходилось принимать в прозрачной воде не очень естественные позы, чтобы хоть как-то скрыть резкие изменения моих форм. Я ложился на живот или прямо в воде, лицом повернувшись к краю бассейна, начинал делать «растяжки» мышц на ногах.

Накупавшись, одевшись и обсушившись, мы сидели в кафе тут же при аквацентре. Они пили апельсиновый сок. Я попросил себе какой-то английский эль, которого сроду никогда и нигде не заказывал, при этом подмечая, что имя «Эстер» — будь она литературным персонажем — довольно резко диссонирует с ее внешностью. Это слово больше подошло бы для марки разливного бельгийского пива. Имя ей не шло, — бывает.

В этот момент и выяснилось, что к литературе, к книгам все мы имеем какое-то отношение. Я — более-менее прямое. Ванесса — по меньшей мере косвенное, через меня. Эстер же принялась объяснять, что работает в «книжном мире» и что такие, как я, каждодневное общение и работа с пишущим людом обеспечивают ей хлеб насущный.

Помимо черного и неблагодарного труда с новичками, продолжала она рассказывать о себе, который заключался в отсеивании из толпы дилетантов, рвущихся в двери издательств, из приносимых ими тонн мусора, который заведомо не годится ни для какой переработки, она работала, конечно, и с известными авторами. Не сказать чтобы получала от этого удовлетворение. Профессиональных «мусорщиков» среди них было не меньше. Она привела пару примеров. Все впечатляющие. Про таких людей уже пишут в энциклопедиях.

В ответ на мое вопросительное молчание, она стала объяснять, что не только отбирает, но и работает с текстами, «ведет» их реврайт, как теперь говорят, то есть руководит переписыванием манускриптов, принятых к изданию. А поскольку и здесь халтурщик сидит на халтурщике, многое приходилось доделывать ей самой.

Только позднее я понял, что она нисколько не преувеличивает. Она умела перекромсать любой самый безнадежный черновик с однолинейной банальной фабулой. Она умела перекроить что угодно в настоящий художественный текст. И если это не превращало полученный «пэчворк» в литературное «произведение», то по меньшей мере наделяло его распознаваемой формой, по которой можно было понять, что это вообще такое, с чем это подавать…

Никогда за всю жизнь я не спал с девственницами. Отсюда конечно напрашивался вывод, что все девушки и позднее женщины, с которыми у меня возникали отношения, были в чем-то более зрелыми, чем я. Но я всегда испытывал обратное чувство. Я казался себе и старше, и опытнее. Да и они тоже так считали. В итоге получалось, что я просто более развращен, но по-другому. Какой другой вывод можно из этого сделать? А поэтому я даже не признавался в своем незнании девственности, стеснялся своего «отставания», незрелости. Тем более что вокруг всегда крутился кто-то, начиная еще с детских лет, кто мог бы блеснуть большей продвинутостью в вопросах секса.

Впрочем с годами стало убывать и это чувство. Наверное, потому, что сам я мог уже любого заткнуть за пояс. Всё однажды выравнивается. А возможно, интерес к вопросу об «этом», влечение ко всему плотскому попросту ослабевало или приобретало какие-то другие формы, более усложненные. Не доходило разве что до извращений, до того, что под этим принято понимать в обычной медицинской практике. То есть допустимо практически всё, как объяснит современный сексопатолог невежде, лишь бы это устраивало все «стороны».

Я понимал, что всё это началось в моей жизни очень давно, еще в раннем детстве. Сегодня даже вспомнить не удавалось, где и когда именно. Еще в детском саду я обнаружил, что девочки, которые охотно давали себя ощупывать во время коллективных просмотров диафильмов — видео было еще редкостью, — пахнут не так, как мальчики. А их едкие запахи, остающиеся на кончиках пальцев, вызывали не то чтобы недоумение, но даже какой-то испуг, потребность проверить еще и еще раз, так ли это у всех.

Первое «нечистое уединение» я хорошо запомнил, потому что оно тоже вызвало во мне испуг. Такой, что уложенный спать, я чуть было не вскочил с постели и чуть было не побежал к маме, чтобы пожаловаться на странное чувство, похожее на мучительную, нестерпимую щекотку. Выделения, мизерные и скользкие капли, похожие на мучной клейстер для папье-маше, из которого я делал подарки учительницам на восьмое марта, обнаруживать себя стали не сразу. Мне было тогда семь лет.

Все мальчики, которых я знал в эти годы, занимались только этим, каждый по-своему, кто как умел, абсолютно не стесняясь друг друга. А иногда и на виду друг у друга, гурьбой. Меня этому обучил кузен, старше меня на три года, вместе с которым мы проводили одно лето. Годы спустя, когда в одном из фильмов Феллини я увидел сцену с мальчишками, которые чекрыжили землю — в буквальном смысле, посреди поля, — я был поражен не тому, что кто-то выудил это из своей памяти и отважился выставить на всеобщее обозрение, а своему внезапному воспоминанию, наверное из-за стыда припрятанному памятью подальше от глаз, тому, что во времена моего детства делалось всё то же самое, но более изощренно. Мальчишки постарше, учившие нас обращаться с девочками, а заодно и крепко выражаться, «курить сигары» из выброшенных на берег речки «сушек» и еще много чему другому, умели нарывать себе из мокрого песка нужные формы и, несмотря на болезненный контакт срамной плоти с колючим песком, проделывали процедуру совокупления на глазах друг у друга, все одновременно и не один раз подряд.

Уже тогда я понимал, что я такой же, как и все. Я не умел ничего другого, кроме того, что умели другие. Но

с годами я всё больше и больше чувствовал себя ненормальным, сомневался в себе.

Позднее, когда мне случалось открывать какую-нибудь книгу на эту тему, когда вопросов становится почему-то больше, но, видимо, просто в силу первых настоящих разочарований в самой теме, я с любопытством выискивал в этих книгах только одно: насколько сильно я отклоняюсь от нормы и так ли это страшно в действительности. И я поражался, насколько велики мои заблуждения на свой счет. Оказывалось, что я абсолютно нормальный, стопроцентно стереотипный здоровый представитель своего пола, даже слишком. Такого, как я, можно было бы использовать как живой экспонат при обучении, чтобы наглядно демонстрировать, как устроена мужская природа, как работает в мужчине нервно-вегетативная система, обслуживающая его плотские инстинкты и рефлексы и что такое вообще мужская сексуальность.

Я даже уже начинал подумывать, что женщины, с которыми у меня возникали отношения, наверное испытывают такие же сложные и иногда странноватые потребности, казавшиеся мне анормальными по ошибке, и что эти их потребности, чаще всего скрываемые, тоже абсолютно нормальны, общепризнаны. Но только они, как и я, не знают об этом, поэтому их и стыдятся. В результате, несмотря на то, что довольно часто, периодами, я вел образ жизни вполне целомудренный, наверное даже чаще, чем большинство окружавших меня людей, я был настоящим развратником.

Всё обычное приедалось очень быстро. И я толкал женщину дальше, туда, где поджидало всё то же самое, те же плотские утехи, не дававшие насыщения и опять быстро приедавшееся. С годами я даже стал этого сторониться — всех простых обычных сексуальных

отношений — понимая, что их хватает ненадолго. Заменить же это было нечем. При этом я никогда не поддерживал отношения с разными женщинами одновременно. Я всегда стремился к верности, потому что постоянно изменял им в голове, потому что «правый глаз» мой не переставал меня соблазнять, и я вовсе не собирался «вырывать» его и «бросать от себя»[5], как предписывается.

Первую настоящую «близость» я испытал только в девятнадцать лет. Довольно поздно, настолько поздно по сравнению с другими, что я этого стеснялся. И никогда этого никому не говорил, даже самым близким женщинам и даже позднее жене. Вроде бы француженка, с опытом, человек продвинутый и образованный. Но и она вряд ли поняла бы меня лучше, вряд ли поняла бы, кто я вообще такой. Французские женщины, несмотря на свою податливость, которая является следствием неспособности противостоять влиянию внешней среды, где всё давно развинчено в вопросах пола, куда более традиционны, менее распущены в постели, чем русские. Они более организованы, больше заняты собой и вообще куда более охотно поддаются потребностям своего воображения, чем плотским. Термин «партнер» здесь и становится уместным. Хотя звучит всегда неточно, слишком методологично — особенно на русском языке, в русской среде. Потому что в этой среде многое по-другому. Русский секс вообще более едкий.

Нечистых уединений с годами не стало меньше. Но больше стало внутреннего стыда, одиночества и

[5] Имеется в виду цитата из Евангелие: *«А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем… Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтоб погиб один из членов твоих, а не всё тело твое было ввержено в геенну».* Мф. V, 28, 29. *— Примеч. ред.*

отвращения к реальности, которая как бы перегнала себя сама, переплюнула. Не было прежней непосредственности. Не было больше стремления к познанию жизни. Оно больше не приносило ничего такого, что делало бы жизнь интереснее, краше. А без этого уже никакие плотские чувства или поступки, совершаемые для их утоления, были невозможны. Настороженность, отвращение — с годами это только возрастало. Всё становилось сложнее. Ничто физическое в моих представлениях уже не могло оправдать себя естественностью. Ее больше не было в моем сознании, в моей душе. Отныне всё преломлялось через осознанные понятия, такие как «хорошо» и «плохо», «нужно» или «не нужно». Так прошли годы…

Эстер была замужем. За одним из своих «подопытных». Жили они с мужем за городом, между Виль-д'Авре и Версалем. По утверждениям Ванессы, Эстер изменяла мужу с каждым встречным. И судя по всему, Ванесса неплохо была осведомлена. Она даже утверждала, что литературная среда Эстер давно разочаровала, давно открыла ей глаза на тщетность поисков чего-то необычного. Даже самого «обычного» удовлетворения в этой среде и то днем с огнем не найдешь. Все пишущие, мол, слабаки, невротики, а то и просто импотенты.

В ту осень и зиму мы с Эстер виделись довольно часто. Но несмотря на то что с Ванессой Эстер поддерживала свои личные отношения, куда более тесные, чем со мной, фактически не оставлявшие мне места, отношения немного девичьи, если в их возрасте это еще возможно, наши встречи всегда проходили тет-а-тет. И уже по этой причине я продолжал подозревать Ванессу в коварных намерениях. В том, что она

настойчиво отсылает меня в постель к Эстер, к которой я не мог быть равнодушен.

Сногсшибательной внешности, всегда изысканно, женственно, но без мещанства облаченная в небудничные наряды, всегда в юбке, вместо колготок часто носившая чулки, веселая, остроумная и как будто бы тоже неравнодушная ко мне… — я не понимал, каким чудом между нами вообще сохраняется эта стеклянная стена, не позволяющая нам сделать, последний шаг. Всё всегда висело на волоске. Иногда мне казалось, что стоит мне невзначай показать ей пальцем на вывеску отеля, видневшуюся за окном кафе — и всё, мы пропали…

Когда мы прощались, Эстер, нередко упаренная, с повлажневшей верхней губой, обычно негромко хохотала, словно и она тоже издевалась надо мной. И она опять заряжала меня на месяц. Я опять садился за свой рабочий стол, опять забывал обо всем на свете, даже о заработках, без которых жить не мог. У меня опять появлялся творческий зуд, стимул — невероятный, неудержимый. Один читатель — это подчас намного больше, чем тысячи. И при очередной встрече, через несколько недель, вновь видя ее цветущей, свежей, невыносимо соблазнительной, я опять и опять спрашивал себя, сколько же таких, как я, прошло через ее руки со дня нашей предыдущей встречи.

Она учила меня писать. Без скуки, с постоянным ощущением наличия в себе мужской природы, смутных и очевидных плотских потребностей, уверенности в своих возможностях и силах. Столь мощного и постоянного стимула я никогда еще не испытывал…

Первый мой текст, написанный в оригинале на французском, написанный через силу, с чувством некоторого отступничества от родного языка и от себя самого, Эстер редактировала сама. Я не сразу понял, что она вынашивает конкретный план. Уже вскоре она пристроила рукопись в издательство. Причем не в свое, а к знакомым, которые держали небольшое семейное издательство, связанное акционерными отношениями с издательской группой, в которой она работала.

Последнее обстоятельство меня не очень-то радовало. Опять неясность, зависимость. Но в то же время гонорар, аванс к будущим выплатам с продаж, превышал, как в те годы еще случалось, подачки, предлагаемые большими издательствами; большие издательства уже заелись, уже успели сесть всем на шею. К тому же Эстер, видимо, и вправду ради меня постаралась. За текст в сто пятьдесят стандартных страниц я получил чек в двенадцать тысяч тогдашних франков.

Мы с Ванессой тут же прогуляли деньги в загородном отеле, решив устроить себе «медовую неделю». Это случилось между католическим Рождеством и Новым годом…

Книга, вышедшая в марте в виде романа — хотя по моим меркам это была повесть — успеха не имела. В течение месяца-двух обложка с моим именем помаячила на прилавках известных книжных магазинов. Знакомые видели ее в Латинском квартале, в витрине модной книжной лавки. Издателю даже удалось уломать пару обычных журналистов — не критиков — напечатать хоть что-нибудь о выходе книги. Новость была подана под простеньким соусом. В него пришлось намешать обыкновенной злободневной белиберды, а именно переворошить мое стоическое, полудиссидентское прошлое у себя на

родине. Что было довольно глупо. Сегодня никого не интересовал уже ни я, ни моя родина. И на этом — всё. Интереса ко мне и к книге как не бывало.

Свои собственные связи в журналисткой среде, — а некоторые ее представители хорошо относились скорее не ко мне, а к Мишель, моей бывшей жене, давно мною брошенной, — я приберег про запас. Еще пригодятся. Не сказал я Эстер и о том, что этот же опус я пытался предлагать до нее во Франции, в Германии и еще в некоторых странах, разослав рукопись примерно в сорок издательств. И никто, кроме одного литературного агента, даже пальцем не пошевелил, чтобы хоть что-то мне на это ответить. Это лишь показывает, какой бурный спрос держится на литературу шестой части суши, как только «империя зла» пожелала всем лучшей жизни. А может быть, и на литературу вообще, что, конечно, еще ближе к истине.

Позднее моим издателем было предпринято еще несколько попыток поддержать издание. Так я попал на радиопередачу. В помещении радиостанции, куда меня сопровождала собственной персоной красавица Эстер, всех участников и сочувствующих почивали аперитивами. Все сидели одним скопом в зале с микрофонами, и официант развозил напитки в тележке.

Выпив натощак виски, я понес в микрофон несусветную ахинею об «отсталости» современной французской литературы, которая якобы всё еще топчется на повествовании, увязает в болоте реализма и не желает видеть и понимать, что после всего написанного в послевоенные годы, и не только во Франции, художественная книга просто не имеет права быть обывательской, не может заигрывать со средним классом, с его мещанскими вкусами или с полным их отсутствием. Средний класс, видите ли, не любит грустных историй. Так пусть ходит развлекаться в цирк

с оркестром, смотреть на клоунов с акробатами. На праздники приезжает даже московский… Никто почему-то не попытался воспротивиться моей дерзости — довольно несправедливой, высокомерной.

Еще как-то раз я очутился в городской библиотеке перед целым залом читателей. Своих ли, чужих ли — поди разбери. Собравшиеся буквально засыпали меня вопросами. На многие из них я бы и сам не прочь был услышать ответ. Но мне всё же пришлось отдуваться, раз уже мне оплатили дорогу и отель. Стараясь соблюдать чувство меры, я даже пытался разъяснять во всеуслышанье, что не такой я известный автор, за какого меня здесь выдают. Но в это почему-то вообще никто не верит, когда это говорится вслух перед людьми еще более безвестными…

Показывая мне статистику продаж — около четырехсот экземпляров за первые два месяца, — Эстер уверяла меня, что по-другому быть и не может. Хороший текст любого автора никогда не расходится лучше. Если конечно его не протащили, как правило за уши, на какую-нибудь премию. Если за год уйдет тысяча или две — это вообще, мол, оптимальный результат для такого издания, для Франции. Но я-то знал, что всё это басни. Срок жизни книги на рынке Франции уже в те годы стал приближаться к трем месяцам. Так что поминай как звали, говорил я себе.

Светленькое клееное издание, отпечатанное на толстой пухлой бумаге с легким кремовым оттенком и на ощупь слегка шершавой из-за высокой волокнистости, да еще и с хорошим добротным запахом, который напоминал мне что-то школьное, беззаботно-домашнее и одновременно унылое, как давние пионерские песни, — свое я, как ни крути, получил и в глубине души, как только я свыкся с

положением вещей, я поумерил свои амбиции и стал дорожить книгой больше живота своего.

Де Лёз — если уж вернуться к московским французам — вечера просиживал у печки тоже с книгой и со стаканом виски. Когда же виски закончился, мы довольствовались чилийским красным вином, и оно по-прежнему оправдывало мои надежды. Мое общество ему всё же должно было скоро наскучить.

К Жан-Полю он так и не переехал. Не хотел бросить меня одного в жизненной распутице. После того как я отогнал арендованный «шевроле» в пункт проката, чтобы не платить за простой машины во дворе, в город мы ездили иногда на такси. Он — по своим делам. Я — по своим. Это выглядело довольно нелепо, потому что возвращаться нам приходился вместе, на такси, поздно вечером.

Озеро за окном медленно оттаивало. Лед по-прежнему покрывал всю поверхность, хотя и приобрел зеленоватый оттенок, довольно необычный, изумрудный. А вокруг разлилось другое озеро. Снег таял, но вода не уходил. Из-за луж, кое-где по колено, даже трудно было ходить за покупками, за хлебом. Газоны же быстро оголились. На кустах трогательной подростковой сыпью полезли почки. И произошло это всего за пару дней, прямо на глазах.

Мне удавалось покупать неплохую говядину для стейков. Но я решил попробовать приготовить рыбу. Большую часть из того, что я покупал в ближайшем торговом центре, находившемся за пару километров, за переездом, мне пришлось отдать уличным псам, дежурившим перед магазином, когда я вновь возвращался за покупками. Судак, морской язык,

пелагия, дорада королевская, камбала-тюрбо, камбала-ёрш, треска, палтус… — вся эта рыба продавалась замороженной и в общем-то никуда не годилась. Только «свежезамороженная» треска, — так было написано на этикетке, — оказалась выше всяких похвал. Рыба продавалась распиленной на куски. И я понял, что для начала нужно «смочить» с нее воду, потому что рыбу, видимо, по-прежнему замораживали шлангами на морозе, посреди Берингова пролива, чтобы, обмерзнув, она больше весила. Если подержать такой рыбий «кусок» часов пять-десять в холодильнике, затем собрать салфеткой всю влагу, готовить рыбу можно было прямо в печке, на огне, завернув в фольгу. Минимум специй, и блюдо получалось отменное.

Де Лёз звал меня в гости в Афганистан. Или в Марокко, а точнее в Фес, если уж я предпочитал направление попроще, где он тоже успел войти в долю при открытии ресторана и, чтобы не разрываться на части, отдал свой бизнес на поруки каким-то местным рестораторам, оставив себе часть прибылей.

Мне, русскому, ехать сегодня в Афганистан в гости к французу? Который в ресторане у себя потчует круасанами американских генералов, приезжавших завтракать в сопровождении бронемашин? Даже странно было это слышать. Мир до такой степени изменился, что иногда, в порыве здравомыслия, чтобы вернуться к реальности, хотелось как следует тряхнуть головой, проснуться.

В такие минуты мне всегда казалось, что я от чего-то лечусь. А нужно-то всего лишь отречься от жизненной мишуры — от времени, которое бегает перед тобой, как твоя же тень, от еженедельника, отделанного фальшивой кожей, от вездесущего Интернета, от оживающего на столе, бегающего по нему телефона.

Но это и оказывается труднее всего. Вот и получалось, что только таким способом, благодаря уединению и закату над Ипёкшинским болотом, я и мог обрести равновесие, докопаться до смысла происходящего — через собственное нутро. И для этого требовалось время. В этом духе я и попытался ответить на приглашение моего гостя.

Де Лёз не удержался и стал меня допрашивать:

— Планы-то у тебя есть какие-нибудь? Чем заниматься будешь? Тебе нравится здесь? — Он зачем-то показал на зеленое озеро за окном.

— Поживем — увидим… Нравится.

Он удивился.

— Я решил пожить без планов… месяц-два, — сказал я. — Сколько лет городил, городил, а толку?

— Тебе надо роман про это написать. — Он показывал руками вокруг, он словно издевался надо мной.

— Я бросил писать.

Он еще больше удивился. Наверное просто не поверил.

— Пора смотреть правде в глаза. В мои годы невозможно писать развлекательную дребедень, — объяснил я. — Глупо. А другая литература никого не интересует. Что-то произошло в нашем мире. Ты что, не заметил?

— Тебе просто нужен успех, вот и всё, — помолчав, заключил мой гость. — Авитаминоз у тебя. Но он лечится. Бады нужно какие-нибудь принимать.

— Я тоже так думал. Успех действительно стимулирует. А сегодня спрашиваю себя: ну, допустим, и зачем? Что потом?

— Разве от этого можно уйти, отказаться? После стольких лет?

— А почему нельзя?

— Эх, дружище… Это тяжелое решение, ты должен это понимать. А вдруг ты себя переоцениваешь? Вдруг ошибаешься и захандришь на этой почве, заболеешь чем-нибудь?

— После того, что уже было, сам черт не страшен, — бравировал я.

— Знаешь, мне кажется, что во всем, в любом деле, нужно уметь нажимать на тормоза, уклоняться от ударов. Отрываться, уезжать куда-нибудь, — рассуждал де Лёз о своем. — И не только когда приспичит. Нужно уметь сохранять в себе… Ну, тонус, что ли. И еще — нужно иногда сдаваться… Да-да, сдаваться. Это не значит проигрывать. Новизна… Она вообще от многого лечит. Она появляется там, где отмирает старое.

— Абстрактно. Но ты прав, — согласился я. — Я всегда старался избегать однообразия, рутины. На письме это отражается мгновенно. Но мир действительно изменился, — повторил я уже сказанное. — Простых решений сегодня мало. Теряешь время, топчешься на месте. А завтра оказываешься в той же точке, перед той же дилеммой.

Но он вряд ли меня слышал.

— Книги никому не нужны. Те, которые пишу я. И в этом нет ничего трагичного. Просто это так, вот и всё, — продолжал я. — Людям нужно… Они ищут другое сегодня. Посмотри, что стоит на витринах книжных магазинов. Посмотри, о чем речь в этих книгах. Мир тронулся, Арно. Он не просто изменился. И пора с этим считаться. Иначе он сотрет нас в порошок. Чем поносить людей, род людской, я стараюсь увидеть в этом что-то рациональное, позитивное. Нельзя бороться с ветром.

Он попросил еще вина и долго молчал, уставившись в огонь.

— Тогда нужно заняться чем-то, — пробурчал он безвольно. — На время. Пока в голове нет ясности. Тебе нужно направить энергию на что-то конкретное… Здесь. Или там. Почему сам книги издавать не хочешь?

— Свои, что ли?

— Вообще книги.

— Заняться издательской деятельностью? Ты бы знал, что там происходит.

— Да везде одно и то же происходит. Книжный мир ты знаешь. Взгляд изнутри — это самое важное.

— Разве не взгляд снаружи?

— Снаружи ты уже навидался. К чему это привело? Нет, любая профессия, любое настоящее дело — это не только расчеты. Это судьба. Это я тебе говорю как человек… — Де Лёз осекся. — Я всю жизнь занимался делами. Всё про это понимаю. Есть только одна вещь, которую ты можешь не знать, по неопытности. Но о ней даже говорить рано. Ты не готов.

— Какая?

— За деньгами можно бегать всю жизнь. Хватаешь, хватаешь, и вроде поймал. Прямо за хвост. Наступает момент, когда чувствуешь, что вот она, трепыхается у тебя в руках. Фортуна! И вдруг — опять ничего нет! Со мной так было не раз. И пять нужно начинать с нуля. Если всерьез к этому относиться, то — караул! Очень быстро получаешь по башке, и не можешь очухаться. А важен процесс. Важно в него верить. Если этого не чувствуешь, если не можешь смириться с этим, то лучше не начинать. Всё закончится сожалениями, разбитым корытом. Вот как у тебя…

Он был прав во многом. Но мне не хотелось спорить, не хотелось втягивать его в пустые дискуссии о моем житье-бытье.

— Могу даже попробовать помочь тебе, — сказал де Лёз. — Что, если открыть издательство в Париже?

— В Париже?

— Есть у меня знакомый. Учились вместе в лицее. Живет в Сингапуре, вином торгует. У него есть свое издательство, свои журналы, но, кажется, в Испании, точно не помню. Могу поговорить с ним… В конце концов, я тоже должен буду однажды домой вернуться, — добавил он.

— Ты? Во Францию? Да кто тебе поверит?

— Не ресторан же открывать или гостиницу, черт возьми.

— Издательство? И что ты будешь издавать?

— Да не я, а ты. А себе я нашел бы применение рядом. Подумай.

К этому разговору мы, как ни странно, вернулись позднее, уже по телефону.

конец демо-фрагмента

заказать книгу